

Геннадий Калашников

С самим собой

(О Мише Файнермане)

Есть люди,
которые умеют плавать в воде.
Они просто плывут и не тонут.
Смотрите – зеленые рыбы.
Смотрите – зеленые волны.
Они просто плывут и не тонут.

Это стихи Михаила Файнермана (1946 – 2003), человека, очень неумело плававшего в житейских волнах, неприкаянного, принципиально, как сейчас говорят, несистемного поэта. Общаясь со многими, примыкая то к одной, то к другой группке стихотворцев, он всегда оставался наедине с самим собой.

«Зяблик перелетный» – так называется тоненькая книжечка его стихов. Наверно, чуть ли не единственная его прижизненная книга, тиражом в 200 экземпляров, хотя написано им немало. Впрочем нет, кажется, есть и еще одна, посмертная: «Михаил приветствует Юпитера» и тоже изданная мизерным тиражом.

Да и сам Миша – невысокий, сублильный – был похож на зяблика, а не на человека на равных приветствующего Юпитера. И похож он был не на перелетного зяблика, а на зяблика, зимующего в неприветливых, суровых широтах.

Мы познакомились с ним в конце 1972 года в Сокольниках, на занятиях студии, которой руководил поэт и актер Симон Бернштейн, крайне благожелательный к пишущей братии. Это был человек с телом карлика и головой благородной мужественной лепки. Он играл в «Солярисе» у Тарковского. Позднее, после смерти Симона, которая стала для Миши тяжелым потрясением, занятия переместились на квартиру Эдмунда Иодковского, но это уже совсем другой разговор...

После занятий, уже довольно поздним вечером мы с Мишей поехали вместе и так разговорились, что вышли на какой-то станции из метро, чтобы закончить разговор. Миша был убежденным приверженцем верлибра, считал своей задачей привить его к стволу отечественной поэзии и с пристрастием допрашивал меня, как я отношусь к верлибру и почему пишу в рифму. Мы стояли в темноте и спорили. Так и вижу его – не-

большого, с аккуратным красным шарфом и в изрядно потертом пальто. Наш спор закончился перепалкой и расстались мы раздраженные друг другом.

Но общение наше на этом не прервалось. Мы встречались и тут же начинали прерванный разговор. Миша всегда, что называется, приступал к сути, не теряя времени на всякие там – как дела? что нового? и тому подобную, по его мнению, чепуху.

Он очень интересовался американской поэзией и дни напролет просиживал в «Иностранке» – Библиотеке иностранной литературы, перелистывая всю имеющуюся там периодику США и выискивая в ней стихи. Кроме крупных поэтов он знал имена тех американцев, кто печатал свои стихи чуть ли не в многотиражках, коли многотиражки есть в Штатах.

Жил он в Черкизове в неудобной холостяцкой квартире, хотя как-то однажды даже женился, но не очень удачно и ненадолго. Порой у него жилали какие-то странные люди. Об одном из них он отзывался очень высоко, мол, настоящий мыслитель со своей философской системой. Помню, я заинтересовался Мишиным рассказом об этом человека и попросил познакомиться меня с ним. Но Миша сказал, что это невозможно – мыслитель с утра берет батон и уходит до позднего вечера куда-то «в поля». Ни о предметах размышлений мыслителя, ни о об этих загадочных полях, куда он уходит, я так и не смог узнать.

Как-то Миша пригласил меня на свой день рождения. В назначенное время я прибыл к нему. В квартире было множество народу, стояли по стенам. пили и разговаривали. Знакомых мне не было. Я притулился к запыленному пюпитру – Миша играл то ли на флейте, то ли еще на чем-то – и озирался на многоголосую гудящую публику, тщетно выискивая виновника торжества. Он появился часа через полтора, когда я уже обрел компанию брутальных парней, похожих на грузчиков, ничуть не удивлявшихся отсутствию именинника. Миша бегло прошелся по комнате, покивал гостям и тут же исчез. Я даже не успел вручить ему какой-то немудрящий подарок.

Я тогда уже работал в «Менделеевце» – многотиражке Московского химико-технологического института, завел там литературную страницу, где печатались стихи студентов и преподавателей, и решил напечатать стихи Миши. И небольшая подборка – «Ямка, полная птичьих перьев...» – была напечатана.

Ямка, полная птичьих перьев,
в земле.
Что это, просто

умерла птица?
жившая на дереве рядом.
не больше?
ни пунктом больше?
и только серые перья
и пара грязных комочков
земли...
И что это значит – умерла?
что она не летает?
что ее имя
стало чем-то более общим,
чем было? –
и если раньше
было кому отозваться
на зов: Ив! Ив!
то теперь пустота:
воздух оперся на палку и смотрит вниз:
здесь кем-то вырыта ямка,
полная птичьих перьев.

Не знаю, как для Миши, но для меня эта, в сущности, совершенно безобидная публикация обернулась неприятностями: меня вызвали в партком института и строго предупредили, чтобы подобных «безыдейных», «абстрактных» стихов в многотиражке больше не появлялось. Пустяки, вроде, но вот такое было время и всех нас, не только «перелетного зяблика», продували холодные идеологические ветра.

Миша жил в своем мире, как бы не замечая окружающего. «Иностранка», чтение, общение с друзьями, житейские заботы и главное – стихи. В последние годы он писал «клоты» – сгустки, узлы, так можно перевести это слово. Длинные стихотворения, объединяющиеся в циклы. Мы с ним по-прежнему спорили о верлибре и рифмованной поэзии, но уже вполне мирно.

Как-то в очередном разговоре Миша назвал меня советским поэтом. «Почему это я советский поэт?» – оскорблено возопил я. Совсем не хотелось числиться в рядах казенных стихотворцев, а именно этот смысл, как мне показалось, таился в его определении. «Но ты же выступал на вечере, посвященном 8-му марта...» резонно ответил Миша.

Действительно, был такой вечер, уже не помню где, и я там выступал в ряду других молодых поэтов. И день 8-е марта был только поводом, чтобы нам прочесть свои стихи. Но Мише – отщепенцу, отшельнику, оди-

ночке – и этого было достаточно, чтобы зачислить меня в ряды казенных советских пиитов.

Он был отзывчивым человеком. Помню, когда я жаловался ему, что не могу найти работу и нечем платить за съемную квартиру, он тут же решил устроить меня на какой-то завод «плакатчиком» – писать всякие лозунги и призывы на красной материи. Не знаю, что это был за такой завод, которому требовался штатный «плакатчик», да и Миша не вдавался в объяснения. На мои возражения, что я не умею писать плакаты, он тут же сказал: «Покупаешь в аптеке две резиновых груши для клизм, вставляешь между ними металлический прут, кладешь эту конструкцию на бумагу или материю, на нее опирается рука с пером или кисточкой, и пишешь – конструкция катится, краска не размазывается, рука тверда».

В общем, теоретически он знал многое. Но кое-что умел и на практике, например, собирал и чинил радиотехнику.

Однажды ему – безбытному – отдали холодильник. Кажется, дарительницей была поэтесса Татьяна Михайловская, деятельно и участливо заботившаяся о Мише. Мы отправились куда-то далеко от Черкизова за холодильником. Войдя в подъезд, мы увидели совершенно гротескную картину – дверь одной из квартир была открыта, и, судя по всему, там шел обыск. А на лестнице сидел прикованный наручниками к перилам явно нетрезвый мужик. Но больше всего нас поразило то, что какая-то тоже явно нетрезвая женщина пыталась перепилить наручники напильником. Участливый и, как мне к моему изумлению показалось, сведущий в таких делах Миша тут же заявил, что она делает все не так, надо подложить дощечку, повернуть напильник под таким-то углом... Он даже предложил, что сам возьмется за это дело, но был послан мощным потоком нецензурной брани куда подальше, и мы благоразумно отправились за холодильником.

В такси, на котором мы везли холодильник Миша вступил с восточным шофером в разговор и стал рассказывать ему про его республику, в которой сам Миша не бывал. Кончилось все тем, что шофер высадил нас, выкинул на мостовую холодильник и, изрыгая ругательства, уехал.

Потом Миша увлекся японской поэзией, жаловался, что хоккуистов до х..., а вот «танкистов» маловато.

У него была собака и еще он подкармливал каких-то бездомных собачек, и это был чуть ли не ежедневный и очень важный обряд. Собачек, среди них он выделял «особенно одну желтенькую», Миша называл какими-то коровьими именами – Зорька, Цветок, Фиалка...

Кстати, у него был псевдоним – Михаил Флокс.

Время от времени он загорался идеей издать какую-то грандиозную антологию современных стихов, просил дать ему подборку, я давал ему

перепечатанную на машинке рукопись, он ее терял, просил прислать еще раз, и еще раз, говорил, что папка с подборками просто пухнет на глазах и вот-вот антология выйдет и потрясет мир.

Мы часто встречались с Мишей у моего друга – философа и литературоведа Иосифа Фридмана. Тут уж Миша разворачивался вовсю, говорил и спорил чуть ли не до утра.

Временами он пропадал из общения, терялся, исчезал. Мы знали, что Миша болен и подвержен перепадам настроения. Лечиться, справляться с собой он не умел. Как-то признался мне, что запивает снотворное водкой и это очень хорошо действует...

Все складывалось как-то нехорошо и кончилось катастрофой – у него сгорела квартира, и все книги, рукописи, документы, та легендарная пухлая папка-антология, весь уклад (если это можно так назвать) его жизни превратились в толстый слой пепла. Уцелело несколько тетрадей с дневниковыми записями.

Прожил после этого пожара Миша совсем недолго.

Сейчас, за дальностью лет, трудно вспомнить многие подробности, передать суть наших разговоров, но образ Миши – неприкаянного, странного, «неперелетного» помнится всегда. Хочется процитировать Тарковского: «Так и надо жить поэту...» – писать верлибры и танку, кормить бездомных собачек, нелепо вмешиваться в дела «взрослых», составлять мифические антологии, говорить сразу по делу, без предисловий.

Ведь и жизнь начинается вот так – без предисловий.

Примечание:

Геннадий Калашников – поэт и прозаик, живет в Москве.